

В своих частых поездках люблю бродить по улицам селений, где приходится останавливаться, заглядывать в лица встречаемых. Как бы вести с ними безмолвную беседу: чем живёшь ты, мой современник, какие печали тревожат тебя, какие радости волнуют.

И, знаете, на свежий взгляд можно составить представление о людях и нашей жизни.

Однажды вот так проездом остановился в районном центре, где заканчивал десятилетку. Те же названия улиц и переулков, а примет того времени нет, и потому они стали неузнаваемы. Вот центральная площадь. На ней раньше стояли учреждения, наша школа, почта, размещённые в бывших купеческих особняках.

Сдвинули их, как будто стёрли с лица земли, новые здания — кирпичные и панельные. С обилием стекла в окнах и потому светлые, радующие глаз.

Где ты, знаменитый «зелёный магазин» с галдящей послевоенной

очередью женщин? Очередью за хлебом, сахаром, крупой, начиняющейся ещё на осенней стылой улице. Одетой в фуфайки, в перелицованные из шинелей пальто, закутанной по самые глаза в серые выцветшие платки.

Неподалёку от школы, на месте старого бревенчатого детсада стоит новый, двухэтажный. Помню, как рубили тот, бревенчатый, демобилизованные фронтовики, раскатав полузавалившуюся сторожку у церкви. Часто подходил к ним ещё один фронтовик, с сажеными плечами здоровяк Фёдор Земсков, до войны умелец на все руки, а сейчас с покалеченными беспальными руками.

Появлялся он непривычно праздничный в своих галифе и гимнастёрке, со сверкающим рядом медалей на груди. Негде ему было обносить, запачкать свою армейскую форму. Он то сидел в одиночестве на лавочке у дома, то шёл к плотникам и сидел возле них часами.

Какое нетерпение приходилось испытывать ему, когда кто-то неправильно вырубал «лапу». В забывчивости он порывался отобрать топор, а потом сконфуженно отходил, глубже пряча в рукава непригодные для дела руки. Однажды Земсков упросил приспособить с помощью ремня к его рукам топориче. Получилось так, что минут пять он потюкал по дереву, весь сияя, как ребёнок. Но скоро приспособление разладилось, и топор, жалобно звякнув, отлетел в сторону. Обескураженный Земсков посидел некоторое время на бревне, потом безысходно мотнул головой и, морща изуродованное осколком лицо, зло ударил обеими культиями по коленям, потом ещё и ещё.

— Ухмм! — сдавленно выкрикивал он, с трудом размыкая сжатый до синевы губ, изогнутый скобой рот, и бил, ещё больше свирепея, изрытое ранами лицо мокро заблестело слезами.

— Хвёдор, нельзя так! — нестрогими окриками уговаривали его обступившие плотники. — Нельзя так, гвардеец!

Но Фёдор колотил уже не по коленям, а по бревну, будто силится размочалить до конца остатки своих рук. Его пытались окоротить, но Земсков со страшной силой двинул одного, другого, и больше уже никто не захотел подходить. Вдруг он посерел лицом и, качнувшись, ничком свалился с бревна. Бывалые фронтовики потупились, боясь подступить к зашедшему в истерику Земскову.

Кто-то, видно, успел сказать жене Фёдора. Она прибежала без платка, с забытой в руке ветошкой, и упала на колени перед неподвижным мужем.

— Федя, Феденька! — безуспешно силилась она повернуть могучее тело, потом упала головой ему на спину, и плечи её мелко затряслись. — Феденька! Сокол ты мой...

Где старая чайная с покосившимися столбами веранды, с коновязью и сенной трухой возле неё? Никогда не забыть табачного чада, гомона сельчан и приезжих колхозников в базарные дни у буфетной стойки. У их ног по замусоренному полу юркает самодельная тележка на колёсиках-подшипниках с куцым, маленьким, как подросток, инвалидом по прозвищу Чижик, взлохмаченным и неопрятным, багрово-синим от постоянных выпивок.

Таких инвалидов тогда часто можно было встретить на базарах, в вагонах поездов, на вокзалах.

Чижик стал принадлежностью чайной, как столы, замызганный пол и картина Шишкина «Утро в сосновом бору» на стене.

— Фрося, нацеди, красавица, сто пятьдесят! — тонко и витиевато кричит он откуда-то из-под ног, из гущи толпы у буфетной стойки. — Имею полное право без очереди, как участник исторической битвы за Сталинград!

— Пошли мы танковым тараном под Нижним Чиром, — вдруг снова доносится его высокий голос, но уже от застолья из дальнего угла.

— Ну, мы им тогда сшили шубу, устроили ураганчик! Земля! — торчком сидя на стуле, он поворачивает к каждому одутловатое личико, взглядом требует сочувствия и признательности к себе. — Земля стонала! Как живая!

В разгар столпотворения в чайной, когда все, и местные, и приезжие, заканчивали воскресный день и валили в неё согреться с мороза своими заветными стаграммами, Чижик каким-то особым чутьём улавливал кульминационный момент в зале и деловито выкатывался на середину.

— Русская народная песня «Ямщик» в исполнении... — опять витиевато, торжественно объявлял он и ненадолго умолкал, придавая большую значимость моменту, — в исполнении Чиждова Александра Онуфриевича!

Оборачивались от столов раскрасневшиеся лица, расстёгнутые полушубки, и будто огромная властная рука прихлопывала гомон. Чижик, уже не жалкий шут и выпивоха, а весь преображённый, с прикрытыми глазами и чуть запрокинутой разудалой головой, выводил своим тенором так, будто сам весь хотел истончиться, превратиться в высокий звук. Можно было только удивляться, откуда бралась песенная красота и сила в этом мальчишески узкогрудом теле под затасканным кителем.

К концу дня он уже лежал всеми забытый где-нибудь в углу сумеречной, опустевшей чайной.

Далёкими кажутся те пережитые горести и печали. За оградой

нового детсада у грибков и на лужайках играет разноголосая детвора. Да и везде иная шумит теперь жизнь. Летят по асфальтированным улицам машины, течёт, движется по тротуару людской поток. Вглядываюсь, изводясь маетой, в незнакомые уже мне лица, а сцена в чайной всё стоит в глазах.

Как живёшь ты, земляк, какими думами и заботами? Вижу, как лёгок твой шаг, прям, полон достоинства взгляд. И красив ты стал: то задумчив, то улыбчив. Но почему я не могу отделаться от ревнивой мысли: помнишь ли того фронтовика, Фёдора Земскова, его мужественное, в слезах, лицо. Не обидел ли равнодушным забвением в суете больших и малых забот.

И ещё многое хочу прочесть в твоих глазах. Может, даже то наше самое сокровенное и главное, что должно быть в нас и которое забывать мы не вправе.

Неизменным, на своём месте стояло только здание райисполкома с обелиском перед ним, выполненным по старинке, без сужения кверху, — память павшим в гражданскую войну. На одной его стороне, обращённой к площади, изображён во весь рост Яков Титов, первый коммунар в этих краях. На остальных выписаны имена тех, кто погиб за Советскую власть.

Вот каким ещё тогда, в детстве, видели мы на портрете Титова: в косоворотке с поясом, в пиджаке нараспашку, только в очень уж не крестьянских, с блеском, сапогах.

Лицо ясное и простое. Стоит, опершись одной рукой о край покрытого кумачом стола: выступает, видно, на одном из митингов или собраний. Невелик ростом, но столько решимости и мужества в его фигуре, в этой скобе волос, упавшей на широкий, умный от природы лоб. Даже представить невозможно, как это могли схватить его, по рассказам старших, ночью казаки и босого, в одном исподнем утащить по ноябрьской стуже в степь к Битюковой балке и зарубить там.

Тогда, в пору нашего детства, ещё ходили по селу легенды о смелости Титова. Его имя носили местный колхоз и одна из улиц села. С внуком его Валькой мы учились в одном классе. Нельзя сказать, что над ним не витала, как и над всем райцентром, славная тень деда. Но не поэтому только Валька был нашим кумиром и вожаком.

В его взгляде тогда уже была недетская серьёзность, кажущаяся холодность бесстрашия.

Учился он ровно, с завидной лёгкостью, презирая зубрил-отличников, и не хотел замечать того покровительства и снисхождения, которое оказывали ему учителя, как внуку прославленного деда. Сидел всегда на первой парте, и хорошо запомнилась неизменно упрямая посадка его головы на худой шее. Всё в нём восхищало нас, и мы невольно тянулись за ним, хотели походить на него.

Валька один из всей школы поехал по путёвке на целину. Это

были первые годы её освоения. Тогда его поступок всех удивил: при его твёрдых знаниях он мог легко поступить в вуз.

Помню, как провожали тот отряд целинников. Собрался митинг у обелиска. Пели песни, сиял, гремел оркестр Дома культуры. Минута была торжественная. Мы, одноклассники, жались неподалёку стыдливой кучкой: как же, раньше во всём подражали Вальке, а сейчас струсили, отступились от него.

Потом были напутственные выступления провожающих. Валька стоял вместе со всеми отъезжающими в модных тогда брюках-клёш, вельветовой куртке с белым отложным воротничком рубашки и изредка взглядывал, прощаясь с дедом, на обелиск.

Никогда он не увидит больше его, так как в то же лето погибнет в пыльную казахстанскую бурю в автомобильной катастрофе.

Отчаянный мой товарищ, ты всегда ходил по краю... Нет теперь Вальки, не ступит он на эту землю, где сейчас стою я.

А жизнь неостановима. Бегут, торопятся люди, каждый по своим делам. Вроде нет им дела ни до полегшего под казачьими пашками Якова Титова, ни до Вальки.

«Конечно, — стараюсь убедить себя, — это ты, праздный заезжий, вспомнил, расчувствовался. А они живут здесь годами, и память о прошлом живёт в них постоянно, то вспыхивая, то утихая».

И всё равно вкрадчивая обида, вопреки рассудку, так и заползает, так и гложет душу.

Я задумался, стоя у обелиска, и вдруг услышал рядом заботливый, сочувствующий голос:

— Тоже поговорить зашёл? — пожилая женщина, одетая очень просто — в кофту, широкую юбку, в белом платке — стояла в пяти шагах. Что-то очень родное напомнило мне её сухонькое, простое, без претензий на красоту лицо. Лицо крестьянки. В смущённых глазах была робкая, простецкая улыбка: как отнесусь к её доверчивому вопросу. В коротком пёстром платье девочка-подросток отделилась от неё (видно, шли вместе) и, подойдя к памятнику, стала поправлять на цоколе букеты увядших, стронутых ветром полевых цветов.

Я снова взглянул на женщину и, хоть не понял, о чём она спросила, всё-таки поддержал её ответной улыбкой, кивнул согласно.

— А я рада, как увидела тебя. Знать, не одна я, думаю, такая чудачка. Всякий раз, как бегу на работу, остановлюсь, поговорю с ним, — женщина подняла глаза к памятнику, покрытому тенью топей. — Родимый ты наш. Всю свою жизньюшку положил за нас. Крошки для себя не сделал. Уж только за одно за это мы должны рук не покладать, как ты, покоя не зная... — она горестно покивала головой. — Нет, грех нам плохими быть, подводить тебя.

Подставив кулачок к щекам, покачивая головой, задумчиво глядела вверх на памятник. Девочка закончила прихорашивать цветы и тоже стала рядом. В потешной сумрачной серьёзности сдвинув брови, так что на лобике образовались бугорки, она тоже смотрела на памятник и как бы молча повторяла слова старшей.

— Вот так и беседуем. Иной раз с внучкой зайдём, — она кивнула на девочку. — Поговорим — и легче станет. Тогда уж бежим дальше, на работу.

И я, увлечённый её нехитрой беседой, смотрел на памятник.

— А тебя увидела — совсем обрадовалась, — обернулась, коротким, привычным движением руки поправила волосы под платком и, смутившись, слегка как бы укорила себя: — Выходит, не одна я чудачка такая — кажен день, как бегу на ток, остановлюсь, поговорю с погибшими. Пусть своим словом, но помяну.

Вот этой встречей с подобной мне чудачкой и закончился мой день в родном райцентре.

И всё же, не угомонясь, снова и снова спрашиваю: чем же живёшь, земляк? И чем ещё будем жить мы с тобой в завтрашний и иные куда как далёкие дни?